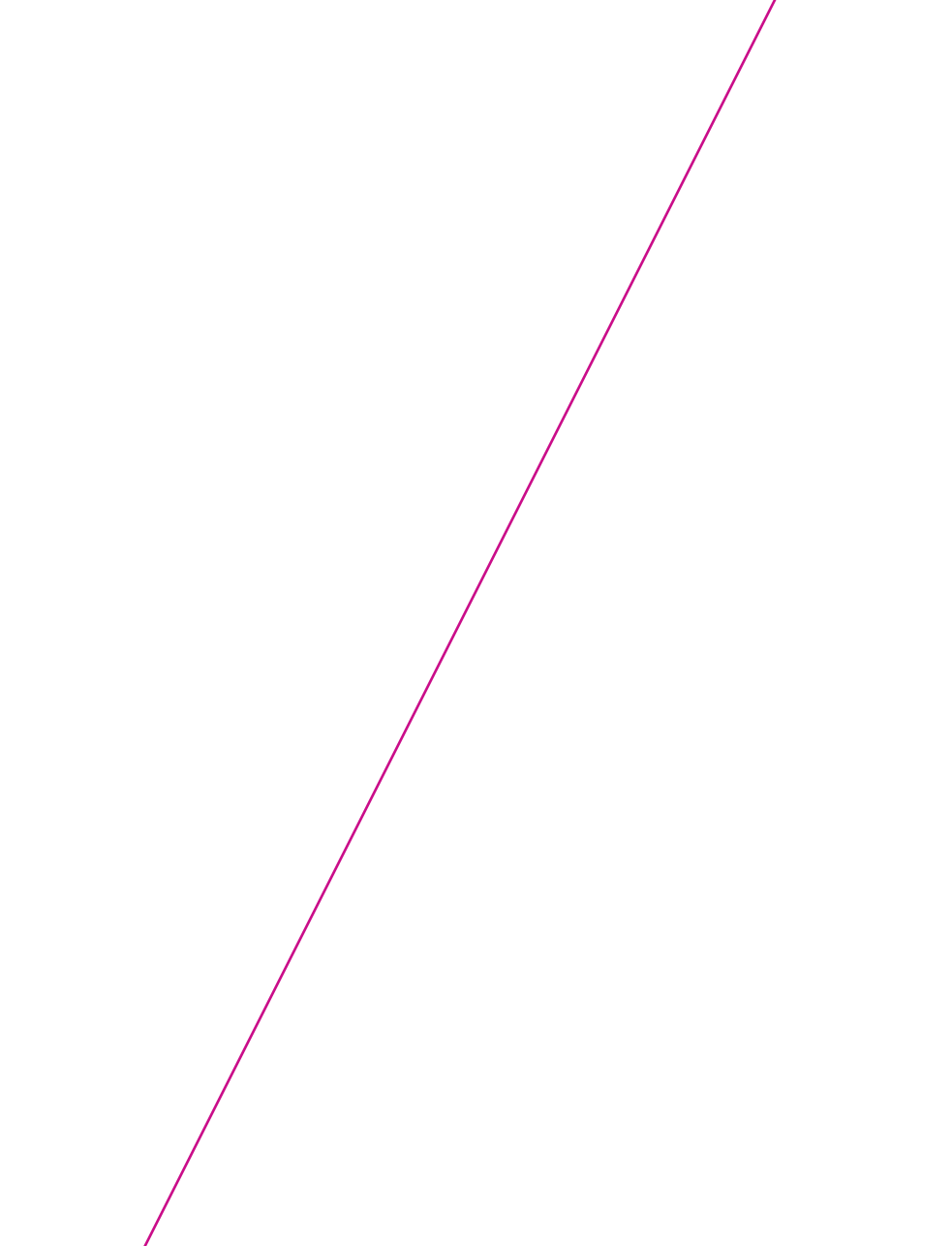


Виктор Іванів
Повесть о Полечке

Коровакниги



Повесть о Полечке

Виктор Іванів
Повесть о Полечке



ISBN 978-5-902945-15-?

Совместный проект издательства «Коровакниги»
и книготорга «Медленные книги»

Іванів В. Повесть о Полечке. — М.: Издательство «Коровакниги», 2013. — 40 с.

© Виктор Іванів, 2013
© Коровакниги, 2013

Оглавление

Поминай как звали, начинай сначала.
Повесть о Полечке. Часть первая с приложением
глав с I по XI 9

Жигуленок «Москвич» и зиппо на джинсах.
Повесть о Полечке. Часть вторая с приложением
глав с I по VIII 27

Петру Хромову

Поминай как звали, начинай сначала
Повесть о Полечке. Часть первая

Хотел Вам рассказать. Времени у меня в отрез, на последнее платье, кафтан с Каштановой аллеи, где вольно гулять нам. Гулял там один Вася, нагулял кило пять, а потом сел в метро и захотел спать. Он доехал до конечной станции утром, а потом уж нашли его там мертвым. Вот что такое время на конечной станции круглосуточного метро. Выстрелили в него из обреза, где-то на наружном перегоне, в окно, там, где деревья с подсыпанными снежком кронами посеребренные стоят и замерли давно. Прострелили окно. Поезд тронулся. Я тоже — и рассуждаю сейчас об этом, пытаясь занять исходное положение. И, знаете, нахожу его чрезвычайным. Ситуевина такова моя, чрезвычайность ее такая, что бьют часы на старой башне, указатели перед Днем всех святых за Каштановой аллеей все перевернули в обратную сторону, что рассудок мой мешается, ничего в руках не держится, вирусня заразная оказалась, хотя и не воздушно-капельная, свалился я ничком с моста, просыпаюсь на кафеле и думаю — ох, неспроста сороковник у меня. Первое апреля, никому не веря, и с тех пор понял, дошло — времени в отрез, до послезавтрева, вот что такое время, поки круглые сутки, волчки, как у проститутки глаза, что твои от ключей брелоки.

I

Прошло 10 лет без малого, когда раздается звонок. Я не вчера родилась, а давно так, что голос с того света — зво-

нят-говорят, это раньше было, не дождешься от них ни ответа ни привета. Вот что такое время, что оно делает, расскажу вам детально, заполирую только счас микстуру больную моментально. Глаза у меня, как градусники — вертикальные, ртутные, осложнения большия, явления простудные. Переплюну любого в этом, корешок разломлю об колено с переплетом. Время коротко, осень быстро делается, по Каштановой аллее поземка вертится вокруг трупа, что лежит под самым маленьким деревцем. Ну что ж, начнем эту грустную басню о том, как высадил топором мужик дверь и послал всех в баню. А сам ходил в безрукавой майке, и это был, так сказать, порог чрезвычайки. Пуля поезд круглосуточный пробила, а он в баньке сидит, топит, курит, как кадило. А на улице, понятно, сороковник, светопреставление. Не того убили опять выстрелом, одно осталось привидение, желаний в исполнение. Об этом поведал мне, «голуаз» уронив на землю — покурить мертвым, вестник без глаз, шлем крылатый опустив на морду.

II

Несут с утра знамена черные, черно, и волосы как смоль у них — и ветер сминает их, в рукава распихивает, под кустом облепиховым, плачет и колет который. Так плакал у меня с утра в телефоне голос Вошколада, он говорит, умираю, только один ты можешь меня спасти как надо, дай денюжек, плачет, а время шесть утра воскресного, значит, дня. Говорю ему, Вошколад, вызывай скорую, пусть везут

тебя к доктору Курпатову, и иди на хуй, и пошли туда того, которого, кто тебе дал-то в прошлый раз денег, ими как мудями позвякай. Неужто ты клад нашел на кладбище, в яйцекладе змеином? Ломки вены, да, понимаю, но, прости меня, их я никому не даваю. Зачем ты пришел, мне тогда сказал, как балерина, что были похороны, когда речь шла о кошке. Теперь вот, когда твой братя выпал из окошка, растворился ты в воздухе, этого, скажешь, не бывает, а того, кто тебе тогда денег дал, даже не вспоминай, уехал он, беги догоняй. Постарайся проколоться опять, а мне надо еще, говорю я Вошколаду, поспать. Так ведь и до утра, бывает, не наглядимся, и мне поебать, хоть бы пошло время вспять, что Вошколад в трамвай еще не ложился.

III

Просыпаюсь снова, день наступает новый, дождик ноет, моросит мои хромовые обновы. Это сапоги железные, берцы, которые износить я не смогу, пока не выбью тебе из груди сердце. Ползу в них на мостик стометровый, о котором не знал, в километре вокзал, а тут улица, на которую попасть вовремя ни разу, никогда не опоздал. Вот и сегодня, 10 мая, опять я туда плетусь, никого не узнавая. Летят серьги березовые, роза ветров вертится и валится как флюгер на вертолетике осеннего клена, и сегодня мы обнаруживаем, с поклоном, именины сердца, стальное колечко, что упало в колодец бездонный, вот и тогда иду я как бездомный, присаживаюсь на оградку у магазина чу-

гунную, ночь прошедшую вспоминаю безлунную. Каждую субботу по осени по-за-той, ходил я на рынок, где памятник торговке и покупателю золотой. Сделал его скульптор один из города Барнаула, уже после того узнал я об этом, как снова вернулся со свернутыми скулами из Барнаула, в одежку ветхую переодетый. Ветхую, значит, вашими молитвами, в петлях которых скрипят козинаки, отпетым и вновь провозглашенным, как конец света, значится это в графе, где не осталось никаких пометок, кроме того, что крови моей маки нюхает, быть может, мокрый нос большой доброй собаки-баки. Короче, это не сегодня все случилось, а в тот день перешел я мост, и вот что дальше приключилось. Пошли мы в магазин «одежда из вторых рук» — я и мой старый-старый друг. Уже потом я оказался на рынке, в кафе «Фавор», там чашек фарфор и в них чай. Осень лупит, как подметки ботинок, в глазах рябит, как ошметками паутинок, настигает тут меня измена, что опоздаю, но приходит Ждан, а измена не пропадает, потому что ее этой осенью не в обхват на кафтан, отвечать крайне невпопад начинаю. А дверь входная распахнута настежь, грабь награбленное добро мое, оставляй меня лежащим навзничь и невзначай закуривай, думая о своем. Тут в дверях и возникает Вошколад и говорит про похороны, он так обмолвился еще, кошки. А просыпаюсь я на следующее, воскресное утро в шесть часиков от его отбойным молотком долбежки. Изнывает он, ломает его, качает как деревцо, и вот выхожу, препоясавшись, сегодня, и выношу ему соль и хлебец на одном из самых свежих в мире ут-

ренних полотенец. И так каждую субботу запрошлого года проводил я в походе на рынок и за рынок, дальше, где растет мое маковое, большое, как футбольное, поле, и все тревожнее мне, и все становится слаще. Потому что там, как вы уже догадались, тут пальцем только в глаз попадешь, а не в небо, ходит туда стоптанный, как башмак, речной трамвайчик, который окормил, обрюхатил меня и переселился потом в соседнюю, другую деревню. Или, может, квартиру другую, не ту, с номером телефонным, нету номеров, все, повторяю, стерлись из памяти, я ничего больше уже не помню, кроме того, и так далее, и так далее, и так далее, как бывает, когда вы все и обо всем забываете.

Далее.

IV

И вот голос мне говорит, не умирай пока ты, времени нет, говоришь, себя в комнате потеряете, ведь по-за-вчера уже красные хоругви пронесли по улицам молодые люди патлатые, а без меня вы ничего никогда не узнаете. Что ж, говорю, погоди минуточку, поднырну под тебя в дельфинарии северном, и тогда запоешь ты, плаксивая уточка, серая шейка, что моя версия пока не проверена. Так вот и той ночкой доброю, добирались пока до дома на Гурьевской, ты тоже так плакала, деточка, что околела струйка семиструйная у кобеля в строгом ошейнике. У очевидцев тик нервный начался, а я сидел с каменным лицом, как в бандитской игре про минетчицу и на телефонные звонки

отвечал вкрадчиво, и так полгода, и еще год, пока не захорошело мне, как женщине. Это случилось, история кончилась, не начавшись, скоро дело делается, да долго сказка сказывается. Минуло с той поры уже девять месяцев, как девять дней, показалось мне, но что-то гладко все, тут что-то не складывается.

V

Вот второй сейчас час, как и тогда, восстанавливаю по записям в метрике, как ты ходишь и топаешь в огромных сапогах, от меня как будто в одном метре всего, а так далеко, как месяц на рогах. Козью ножку сверну, прикушу губу твою, вылижу все батарейки заново и омою лицо твое перегаром праведным, завидно будет вам, тем, кто ко лбу твоему приложит ежовую рукавицу и сыграет на зубастом ящичке мою пассакалию.

VI

Я прихожу, темно хоть глаз выколи, в каморку, где ждет меня нежданный да избранный и скребет наждаком все стекла черные, липовые, забитые прахом мозгов твоих, кисонька, ногами забитая, с сапог моих слизанных с дерном. Как грязи лечебные, чище их не бывает, говорю я Ждану, который сейчас уже далеко, дай мне книжку одну телефонную, ту самую, что на сучке висит номерком. Этот сучок в глазу твоем, брат мой, говорит мне Ждан, легче станет, ополосни стакан, через полгода здесь будет бордель, ба-балет, лупанар. А сейчас, пока светит фонарик

мой маленький, выпей стакан и лети, как на морозе комар из азбуки Морзе. Ополоснул я его водкой русскою, так называется, это четок, и оказался вновь на морозе я, чуток. И гляжу глазами до безобразия узкими, и жмурюсь, как парализованный льдом кипяток. Писать я им буду, кровью как, и побегу сразу в милицию, все на той же площади миленькой, только раздавленной, как драже, так что под ботинками говно зашевелится бисерное, разъезжаясь с гостями вшивыми тамошними, как рука твоя заползает обратно в манжет. Туда, туда, туда, откуда я, вох ди цитроненс блюхн, бултых, я, костылями своими орудуя, забегаю в блиндаж и в блин растаптываю козинака жмых. Там, в блиндаже, несется разноголосица, поет оркестр и 10 ноября, я бросаю через голову матросика, и ломаю ему переносицу, и кием душу его, поиграви с ним в бильярд. Пламя глаз этого безумного дьявола, а на самом деле жалкого червя, который поедает поганку бледную плюгавую, напугает блондинку Плунгян до седины или хотя бы до середины сентября. И тогда врывается врач-травматолог с огненными глазами и фиксирует руки на поясе мне, а я думаю, дам под коленку и переброшу его через голову, а сам прислонюсь к стене от боли в спине. Нет, не грыжа у меня там выпала, выросла, как у большинства моих с остановки «Мебельный» друзей, и все в один день. В крестце моем на тузу дырявом от иголок две дырочки, а я все отвечаю на звонки и на лесенке качаюсь, как картина на святом гвозде. И тогда не выдерживает начальница моя, которая как мама мне родная и у которой от игр в «каменное

лицо» начался нервный тик, и выползает вдруг из-под стола минетчица благородная из магазина, который хотел ограбить один псих. Оба в больнице они теперь — и преступник, и та кассирша, которая откусила тогда ему полхуя навсегда и выплюнула через левое плечо. И поэтому я хватаю шар бильярдный и бросаю его с размаху в лузу, как в трюмо какого-то алтаря, от всего сердца, горячо. Он рикошетит в висок голкипера, вратаря с чешской фамилией Каша, или Валенок, а потом улетает в склянку под Питером, и меня хотят вязать, как в песне «На графских развалинах». Я слушаю и повинуюсь, но голкипер чешский Каша, встав, как ни в чем не бывало, из-за стола, говорит: здесь и так собралась честная компаша и вощще-то седня 10-е ноября, мать вашу едрить. А это потом расскажет он испуганной девочке, журналистке, не той, которой полюбился таксист, про меня, а другой, которую я до смерти напугал, что это опер из Кыштовки по имени Кшыштов, шумел камыш и гнулись деревья, и тут подходит ко мне Надия. Ты маньяк, у меня есть водка, и начинает меня целовать так, как никто никогда не целовал ни меня, ни вас. Я маньяк, отвечаю, и вообще, я волк позорный и мертвый, опер Кшыштов, и не предназначен для ебли вообще ни хуя. Я предназначен машинистке Нюрочке, которую каждый вечер провожаю домой до сих пор, in immortal ноябрь, Улялюм. За тех, кто втюрен в эту Нюру и только числится в МУРе, никто не пьет, только я и мой друг Брандмайор. Вокруг сначала свист и улюлюканье, гопак несется, и вдруг тишина. Надия, никто не проводит домой

тебя сегодня, глупая, лети от меня прочь, голубка моя, прочь лети от меня.

VII

Я всего лишь колечко, что закатилось под стол, но ноги отсохли и пальцы разбухли. Эпизод был другой в небе голубом, под солнцем губастым и пухлым. Мой друг Ден Мороз, дубленку надев, поехал в Святую Землю-лю. И там оказался, руки воздев, у Айи-Софии в декабре, как в июле. Тем самым он, как подумалось мне, не совершив ни одной ошибки, принял участие в угрожавшей всем войне, уничтожению коры головного мозга моего и его прошивки. В дубленке сидя со старой подругой, которая видит цветные сны про милый рай, покинутый в трудный момент навсегда, эти сны из смальты сложив в мозаику, оказалось, что она сквозь розовые очки будто вчера родилась. Как на Бразильской горе в Рио-де-Жанейро жаворонок звонкий, и на камнях растут деревья, и сверху кажется то, что эта Святая Земля и есть осыпавшаяся мозаика из смальты, на которой живые люди пока есть, а не натечки базальтовые. И тогда один изобретатель подумал, что бульдозером эту кучу секретиков детских можно убрать, чтобы потом их снова найти во дворе дома Дена Мороза, и вернуться обратно сюда, в потерянный рай. Но для этого придется покончить с соком липким, клюквенным и березовым, чтобы похоронку не получить невзначай. Но тогда, в чрезвычайном своем бессмертии, маленькие муравьи, искусав его ахиллес, что смальты передвигали куски, сказали, что

выставят 50 тысяч таких, как они, и еще тысячу смертников, чтобы мир скончал свои дни и исчез. И пока жилмассив соседний обесточили, я подумал, а вдруг, выставив громоотвод и накликав грозу из тысячи чаек морских, как молнии среди бела дня, я почувствовал, что Массих аль Джедай уже заворочался и поджидает их у ворот в надсаженный, как глубокая перерезанная глотка, рай.

И тогда, нарядившись в одежды белые, чешские, и накинув куртку летчицкую, как башлык, я поехал исправлять ошибки деновские, академовские, и побежал на рынок в «Фавор», чтобы мне сказали, как пробраться в ощетинившийся штыками Еджипт. Это был Газават, во время которого я оголил на кухне своей все провода и врубил свет, неся в руке громоотвод. Но мне на перехват ринулся и поймал меня в квартале одном от дома Синдбад-мореход. Он сказал, пусть Ден Мороз, раз он заварил эту кашу, сам и расхлебывает ее, а то ты сейчас себя просто убьешь. Давай лучше пойдем и сочиним песни про любовь Глеба до гроба в девочку Машу, не который Жеглов, а внебрачный сын его. И мы пошли, взяли гусли и запели про маки красные, как сон твоих кальсон. И наши голоса сладостные радостную весть несли и звучали поразительно в унисон. Только песни эти уже забыли мы, потому что были они легкие, как пух, и улетали в небо, как снег, засасываемый в пылесос. Дело в том, что на кухне провода оголили мы, и долбануло нас, так как мы есть, среди зеленых деревьев, и в анекдоте про БГ Виктор Цой, золото на глазу голубом, в горизонт.

VIII

Только Ден Мороз вернулся, как мы стали с ним играть в шахматы, он играл еще на гитаре, а я его накормил. Только он пересек Памир на границе с Китаем и лихорадкой особенной меня заразил. В лихорадке мне пришлось два дня проваляться, и я выбил оставшиеся двери, и спал с раскроенным окном, и только тут немного притормозил. Через пару минут после дикого торможения я оказался на кладбище Новодевичьем у Каменной бабы в Москве без синеньких бахил. Обошел я крепостную стену в шесть утра и купил почтовые марки с изображением

Девы
Марии
и Пятницы
Параскевы

Однако вместо этого, того, чтобы узнать, как в карты шулером выиграть у игрока в словесный тетрис, я решил, что лучше бы мне довести его до бессонного бдения в течение двух суток, до белого каления, но с ним ничего не случилось из-за этого, не вполне, по моему мнению, не вполне он утратил рассудок. Потом мне сделали там лоботомию, и, содрав кожу с креста и нанюхавшись роз, я увидел как болельщики конские и мясные давят вас ногами, как личинок бабочек и стрекоз. Но тут, конечно же, появилась хрустальная девушка из племени нивхов, у которой было

три солнца на небе и совокупленье наше как брата и сестры в ледяной Оке, я, ни разу не изменив тебе, Нюрочка, оказался вновь в машине, в петькиной «Оке». И Петька повез нас с тобой, Анку и Василь Иваныча, к аленькому цветочку, который называется мак. И из его тычин раздалось пение ангельское, только мы попали впросак. Потому что, съев почтовые марочки и положив беломорину на Каменную бабу, которая бы в люльку уместилась и была меньше твоего, Нюрочка, локотка, Параскева Пятница вместо 9-го на 13-е случилась, а вернее, на 26-е — и вывела меня из этого мирка, из этого бардака. Мы умрем скоро, как в книге Виталия Бианки написано, в тот день якутский шаман, старушку изобразив с костяной ногой, нацепил на спину куртку с козлом перевернутым в пентаграмме, обрюхатив меня вторично, окормив меня жабой и наоборот объявив остановки в метро, выпив весь алкоголь. Не дождавшись Искупителя, я пошел помолиться в храм, и тут возникла иллюзия, как и все, рассказанное здесь, как мне сказала с того света шлюха, разбив телефон, как будто расстались вчера, у меня случился выкидыш, и я забыл все слова, в том числе и твое настоящее имя, любимая Нюрочка, Полечка бессонная, которую унес Сатана.

IX

И, увидев это из беспокойного ящика, Владимир, раб Божий, именуемый также Богою, которого поставили на памятник вместо Ленина в программе фотожаб, проснулся на печке, содрал с окон рогожи и на вокзал прямиком по-

бежал. Там вскочил он в скорый на Землю Святую, чтоб открылась до дна Храмовая гора, и расцвели большие душистые цветы на ранах Твоих, и перестали наступать последние времена, которые всегда наступают, когда кажется, что кто-то лопает козинака жмых, и наступают последние времена. Там действительно при его неожиданном появлении преклонили колена, выкрученные до локтей, побежали навстречу Боге с голосами елейными пятьсот тысяч новорожденных детей. Он тогда подумал, что все вот откуда же, тайн столько и имен незнакомых, а без человека им окно не открыть. А меня пока прикололи иголкой бирюзовой к яхонтову шпилю на входе в светлый град Ерусалим. Но я откололся от яхонтова шпиля и вновь увидел в беспокойном ящике Владимира, который постучал мне в окошко поутру, а я и не спал, и вот уже неделю беседую с ним. И Владимир назвал меня по имени, еще целую неделю разговор этот продолжал. Он не мог заснуть, не мог спать вообще и просто просил немного послушать его, и он рассказывал о своем друге, который сутки бежал тайгой из больницы-тюрьмы, а потом всю ночь у него прятался и о помощи просил, спасения от чумы. И еще много такого рассказал Владимир, отчего конец света по календарю Майев наступил. А мороз сорокоградусный, что сраку не почешешь, держался, и все живое тем временем умерщвлял и косил. Но вот наступил новый год, и, вышедши из своего ужасного состояния, Владимир заснул и неделю проспал. А я как рыбка бултыхался в аквариуме, трясся весь и руками дрожал.

X

Вбегаю в метро на станцию, как пятно родимое, наступает приход, и тут же приходит мне кабзда. И прежде чем в меня пальцем показывать и тыкать, послушайте, я про время еще не досказал. Время — это такое тело мертвого, голое, без креста, в поле лежащего в штанах. Время — это монета затертая, сколок, на которой впроголодь портрет не узнаешь впотьмах. Время — это то, что открывается как воспоминание и сбывается раз, но это обман. Это виселица, каруселька майская, в которой мертвый ребенок выпал из стремян. Время — это когда ты думаешь о приходе мессии так, как будто он уже пришел и наступил. Время — это озлобленных два кретина, от которых один другому ноги от армии откосил. Скоро кабзда мне, скоро на выход, но остановки никто не заметит, потому что ее не произойдет. Еще это время называется приход, который никогда не придет. Но прежде чем заклинит еще раз фазами, скажу, чтоб не лезли из кожи вон. Ограничусь одной, заученной фразой: время сломано до конца времен.

XI

Было много всего еще после этого, девять месяцев, как девять дней, утекло. Как скелеты плясали мы со скелетами, и котлеты жрали с ногтями, и пили компоты с конфетами в новый год и потом еще в старый новый год. И сегодня, числа 11-го месяца Хонды или Тойоты, когда кто-то умер во сне опять, побежали через дорогу перебегать пешеходы

и стали каг бэ под машины сигать. Мне легко так стало, наступило годовалое, небывалое определение времени по часам, обмануло стрелку большую и малую, из-за которых нельзя не спать небесам. И теперь, хоть и было вас две: Нюрочка и Полечка, и кого кто унес, и как именовать вас теперь, позволь сказать, что я вспомнил теперь, как открывается полюшко-поле, твоя пещерная летучая дверь на хрустальный корабь. То есть я знаю теперь те слова тех песенок, которые забыл только якобы, потому что в голове был озон, а в горле земля, кровь и вода. И из потопленного корабля, где страшный полк глядит глазами удушенными, открытыми навсегда и застекленными, я уберу снег и побелю черновой экземпляр для тебя изо льда. Нюрочка, Полечка танцевать улетела, глядя на виноградные прутья «нестле», которые ломаются6 как ветхое тело и сгорают, как феникс, и родятся в твоем новом сне. Там вновь встретятся вместе земля и небо, перешагни через тень, умиления слезы пролей. И глаза мне не жжет больше болью весеннее спасение, раскачивая сломанные качели, что давно улетели и вернулись, ударив меня сзади по голове. От этого слегка ошарашен — задраивали же люк маршрутки с размаху между висков мне, и ничего, волок автобус троллейбус, трамвай за ногу меня и маму мою, мамочку, мамашу. Нюрочка, здравствуй, здравствуй, Маша, доброе утро снова, спи спокойно, баюшки-баю.

10–11 мая 2013 гггг

Наталии Азаровой

Жигуленок «Москвич» и зиппо на джинсах
Повесть о Полечке. Часть вторая

И вот перед ней воздвигся полуостов Пиренейский, прооперированный я ей снова говорю, и матюгальник не закрою от лица индейки, холодной мертвой турки-на чаюкофе заварю. Прошлой весной, переходящей в краснознаменное лето, влет убивали мы мух с Павлом и Димитрием, и пообещали не забыть покрутить котлеты еще раз на твоей вечеринке-е на поминках Велимира. И вот сегодня, когда с гремлином Костиком гонку мы смотрели, и он на визит ночной с поклоном побежал к своему другу, который жил в квартире напротив, но не дождался его у дверей, хотя тот долго стучал. 100 лет назад, когда не было ничего вообще еще, а сейчас вообще уже двести часов, он с другом тем из дома сбежал и срубил цветок клевера вместе с поварским украденным ножом. Этот нож, воруя сегодня, как мы с Пабло думали, он в коротком забеге хотел только, чтобы оттрубили по всей округе его на площадь Трубную, с гласом базы овощной медленных процессий нательных. Я тогда достал зонтик марки «айртон», просто «айртон», а не тот, что, между нами говоря, был когда-то хайратым и брюхатым, и под спотыкач твой волновался зазря. Он не хотел, чтоб ты упала, чтобы ты пропала навсегда, и в его глаза залетела каска зареванная и дырявая, и пронзила мозг молния налобного стекла 22-го числа месяца сентября.

I

Тогда, когда затрепещут синие молнии, возле фонтана в замке змеи, я расскажу, как с Димитрием Павел над морскими волнами плавали до Гаваны матросской, как старшины тишины. Было это в те же даты, когда Дмитрий Сергеевич, мир его праху отрясти с моих ног, в общем, с Лихачем прятался в лихорадке сенной, как змеи в овсе-на, на расстрельное утро сберегая патрон. Было это тогда еще, сто лет назад давеча, когда носители всех имен на измене сидели, голодая припеваючи, было так и будет с кончала времен. И не того коньячку мы выпили, что чайником нырнул по голове тебе без, без близнецов, без родни, без зубцов, вообще на Юпитере, которого Аполло не настиг в водосточной трубе. Сегодня прочти новую сводку, Беттишлюха, бикфордов шнур в говне, про то, как прибило дибила обухом, или проще говоря, ничком по голове. Завтра будут новые моторы, которые давление тебе пережмут, на шее сдавят руку тебе и твоей валторне, и это будет жиги нефтяной жгут.

Не сеют они, и нищие хлебают по хлябям и, засыпая, врезаются в столб, а потом еле глаза открывают, вырывают и ноги от земли отрывают, лучше спрячься в норку, за заслонку и мамке в подол. Они никогда ничего не забывают и утреннюю скатерть расстелят тебе на столе. Решишься ты ума, или призма, которая является правильной призмой, расфокусируется и как курочка поклюет, сегодня ты попрощаешься с жизнью на обалденной тризне, и кровь твоя как молоко потечет по губе, вдовка сирот.

II

Муха, клянусь, как под полнолунием снежным, я десять лет назад въезжал в троллейбус, зацелованный в обе щеки. Так за календариком детским без одежды слюни бомжу стирал и, лохмотья срывая с руки, подсаживая его в вокзал. Так мы с Германом осенью серой 05-го, когда целовала Ягиня моя пальцы холодные озимых статуй юноши питерского, а Марсела мыло ела, как косточки берегини, падла мастевая, сука из Витебска. Так и сегодня, зажжа берестку, бедного в сны рыцаря провожала Луковка гранатова, так рождаются скоро мои сестрицы, а мои сыновья становятся как палата рогатыми, и оправляются праотцы. Так первого мая, поедая пасхальную луковую шелуху, синие пирожные ели мы с мамо и татко. Так тарабарскую утреннюю залепуху слепуха выпрыгивает из рамы на Мосфильме – вам и не снилось, парень. Этот юноша – мертвый актер, бабка-огнетушитель спешит на двор, где только кости, кости, кости бритые, бритые, бритые, как в мавзолей я захожу разбивая витрину, и истлевает, чем глубже в гипнозе кенозис, в маслине Soleil, в подсолнухе семя. Так в черно-белое домино передвигая и шелестя, песьими, синими, лисьими Модзилла в куртке губаме, Андроников рассказывает мне о моей покрашенной оранжевой батарее и потолке, когда мы пошли за грибами. Это судьба, говорит мне Софья, знает она страшных черных женщин убийц, у которых умерли дети. Краской синей эмалевой глазируй под засолкой, под парасолькой июнь-

ской, таких матеря мастериц, у которых вы не были где-то. Помнишь ли ты, муха, как с Германом мы спустили с лестницы, покатились на санках, но вытащили, как в об-ом, второй раз старика от паденья на рельсы, как бежал я – был нужен прыжок, и осанка осенняя за самолетом гоняться с ослабшими пересветами, тарантас. В Пулково, в Пулково, в Пулково розочка огненная лиса пляши, язык высуни и умолкни, молчи, тишина гулкая пустотелой статуи лампы луны.

III

Зенитным топором рубили и гробили хрустальные тополи и их зеркальное отражение в прудиках. Может быть, время, их так подсуропили, может, мечта о Европе, что отрезали самые ломкие прутики. И в огонь бросили с треском, и сахарной стекловатой в легкие с надсадом, перевернули и поставили вертикально все скамьи пятидесятилетние деревянные, и вместо них посадили поляны пальмовые из зоосада. И за оградками чугунными рассекли, как секатором все секции, отшибло депутатам вертикальной проекции, и комариной сеткой невод закинули, и замкнули пальцы в розетку в сексту и терцию смятую. Так, пробегая через ворота магнитные и марганцовку поливая на раны, я со двора на «школьнике» с зубодробительной дрожью бежал вчера от ресторанной охраны. Зачем же тычется на твоем ланцете фальшь-бросок флешцурюк, электрон ловя дернутой мышцей с берданки. Бредет мой невод lover лауданум, бурдюк, как контроль-

ная работа по алгебре для Софьи Чердачки. Видел ее также в об-ом году возле памятника какого-то в госпитале, или как рука Валерия Чкалова в коме АССР случайно издалека, и приехали в этом году из Питера незваные гости, и я от них обрусел в «мессершмитт» несессер. Женя с ожерельем созрелых глаз перламутровым возле кинотеатра победоносикова камарра, и Сашка, висящий кажное утро на жгутах, с небоскреба на небоскреб переносится с соседнего двора. Небоскреба на Охте, охота на лисичек, и синявок, и рыжиков, стройных морозных лыжников сверкающий сабельный полк, – так обрушилось зеркало иллюзии, которой нас отмотыжили, отмотали назад и пустили в расход Remote control. Раз – не пидорас один, а если двое, то с горы по балде хуйнули тебе в пятку булыжником и грязью, и ты утонула в промоине, а сейчас пляшешь огнем на киргыз-кайсацкой орде. Песня барсучья эта, когда прозвучала, ты со станции со спутником связалась. Но я заблокирую тебя и начну сначала, потому что новая жизнь затаилась, и звездочка январская уже зажглась, как оказалось. Беги куда-то, хоть на огне зиппо, гриппо пляшет и жрут гимназистки аспирин. Свитер мой синий, синий свитер, тебе в лоб швырну мой заплесневший инеем апельсин.

IV

Кино здесь глубже, говоришь, шатает вывески дождевые, жестяные и норы лесных зверей, намнем мякины синей помесь песьей и лисьей поры моих граблей. Слабеет жаба,

давит бронхи и только гайворонок звонкий улетел, чиж под пыж и джигитовку перестроил, слабеет облачко и дымка. Луна встает во всю свою силу и наливает тебе крынку и отворяет у бутылки новой крышку. Пострел поспел, прострел парализован, я забинтован среди потерях. Как в Новый год имбирный нарисованный, Миллен, ты не нуждаешься в поводырях. Твоей дубленки жаркой ветряною пещью и готовкой, духами смехом даришь, до квартир доводишь и в ночнушке осенней, как в пеленках, медузой выбегаешь на лестничную клетку. И хереса-ирисок шираз звезданул на Новый год, когда воздвигли армянский крест и то был первый сладкий мой глоток. Ты сбрасываешь ватную сахарную солнышко-щетину, и я не знаю, как твой волос порыжел, как в огне молоток. Как аварийка пробежала мимо и красно-желтые напялила трусы. В постели твоей, ломака, гамака, гамаша и кощейка, сегодня обнаружились Джексона часы.

V

Как летний дождик рано встал, послав вам вновь охапки роз для рожениц и прочих ружечек для белошвеек, от белоручек наругался надо мной слезами майкла мой невроз и пролился по лужам на вокзал писавших синим авторучек. И я хотел попасть в отруб месяц назад, но напугался, что задохнусь и кончусь, и на середине кормежки с ложки меня покрасят серебрянкой милосердия минжор мизером предсердия домов презрения. И был бы короед жучок, и книжный жук, ко мне заползший, как мойка тряпкой

твоих рук, сверчок цветочек из картошин, Fuck Zuruck. С моего черного циферблата повалятся белым снегом твои бесчисленные лица. Сварил себе в мундире суп и ел его как древесину, и ветер огненно зашелестел над маковкой церквушек бледнолицых, и повеял из лесных кладбищ с полей и с нив, сшившись, повеял ветер только на пустой земле, где вы как измороси грезной и бризом бреющим ладони стирающим пятна родинок со лба родимчиков с макушек, огнем мне, Макош, выдь наружу и закрути миленку кружик. Вираж им врежь, ломая стадион, бросая пластиковых кресел в огонь, в огонь, в огонь, что был как выжига болезен. И ветер-суховей, в самум заглядывая, превращая рахат лукум в рахит лагун, и «голубой луны» резинки для дубины на блинах малинки. Дубочек желудь золотой носил в кармане ежедневно, и каждодневно мальчик молодой в платок сморкался синей спермой. В лесочке зонтичном морозном я толкался с тобой под деревом и в рот совал твой алый, глаза твои сияли, как любовь с балкона сбросившись с пижамой, фижмой, фиалкой, исполинской жабой, ушедшей вон из-под джеба под жабры.

VI

Вдруг ливануло, когда мы выскочили и выковыляли из театра, или в сумерках летних холодных туда только подходили. Словно плевра отдохнула, и смачно плеванул я в глаз петушьего сна боевичка-снеговика йопорного чопорного театра в фиакре на Пикадилли. Там, на сцене, куда мы шагали с мамой в розоперстовом и рубиновом, и чер-

ном, на кочерге с волосами как осенняя солома. Там сулема, там шло, теряясь и терзая, представление, и журналист из телетаблоида вдруг оказался попай лысой морячком – там сверкала траурная процессия дьявольская в серебряном и черном, и на люстре в вышак болтался фальшак голосов дохлый и большой. Там прозвучали когда ноты и слова обпопствол пидер и вполстакан, я вскочил и стукнул креслом так, что вздрогнул лысый команды певичек лидер, а зал зашипел, засмеялся и проспался. Выбежал я из собрания нечестивых, что козьи песни свищут, как соловейко золотой под луной, и кинул ботинок в ваш лысый телевизер, и разбил его, Блонди, об твое табло.

Блонди, ты любила короткие, как у Кортни на корте, майки и длинные штаны, и была ты большой и с душой, и ела ты все время все той же сахарной ваты кило, и глаза твои сверкали, словно вот-вот придет Рождество. И когда ты замлела, размочив пальцы, слюни пустив, вдруг блокиратор на холодиле, как на льдине, взорвался, и саму тебя посадило на помело. Которое, как сетка, тебе бы чулок – подошло в магазине розовое, не проткнешь, оборвется крючок. Но ты любила больше джинсы широкие и синие, и любила больше всего оперное перо, и синий мне на головку накинула чулок.

VII

Ты была коноплянка и пеночка, ты была далеко и жила в квартире большой и московской, где в пять утра просыпа-

лись далекие гости. И ты хорошеешь с каждым днем, как холодом дыхнешь, и я поцелую твои локти. Ты, о, оранжевое суперлуние, до опупения тебя провожаю я домой в первый раз. Как под столом, накрытым одеялом, началось шевеление, и стоит Нуррис твоя с чадрой на глазах. Конни, Бетти, и ты, Лилейн, я помню вас хорошо так, как в первый раз. Это ваш шепот, щебет и щекот, это ваш хрустальный с кровинкой глаз.

VIII

Совушки мои вдовые на горящих матрасах, как на пружинах электронного Джонника, подпрыгивают, пружинят мне и поют. Стреляет электричеством, гомонит и горит кинохроника, как целлулоид и весь морской флот и мокрый хвост. Ветер свищет во все дыры, и все вальсирует билеты в театр, в кино, в Луна-парк. Сиротина хворостиной порет козлище, вдова купорос медвяный проглотила и жует анфас. Жемчужное ожерелье, каша-перловка, по трезвянке над озером погляди, закоротило дожди. Мне так стоять оказалось неловко, чтобы ты вся была, как моя жизнь впереди. На трезвой тризне катарсиса не протолкнуться, катафалки над катафотами и киоты рисуют, и бьют в глаза прожектора. Мы с Романовским глотаем кофе в «Алёкме», мы с Никки пляшем под майской шторкой твоей на Гоголях и ходим на головах. С новья Света и Тема целую в родимчик, всех наших с тобой, бремя мое, детей. Умничка, мальчик-пингвинчик, который превращается в петуха, на бошку крагу красную резиновую надев. Пока-

тайся на корточках, умори под машинку, лысая блоха, и смотрись в зеркало и скажи, что каска пролетела твоя ни петельки не сорвав, шпаги над головой не сломав, никого не задев.

Жигу олененок «Москвич»! Застегивай зиппо на джинсах!
Я говорю прощай нимфе чикистов.

Осень-весна

Редактор *Алексей Дьячков*
Дизайн *Иван Большаков*
Корректоры *Юлия Алексеева, Сергей Лебедев*
Верстка *Ильяс Лочинов*

Издательство *«Коровакниги», facebook.com/cowbooks*
Книготорг *«Медленные книги», slowbooks.ru*

Тираж *150 копий*

Печать *ООО «Типография Момент», +7 (495) 570-11-74, 1moment.ru*

Москва • 2013

